

и медведь. Это приходит на память именно здесь, после далекого пути, в необычной обстановке, среди другой природы и даже не на земле, а над бездной океана, когда мысль о родном доме особенно сильно дала ощущение противостояние и единство двух стихий.

Через много лет после поездки на Дальний Восток Белов скажет слова, объясняющие документальность многих его произведений: «Разве это фантазия – наша Россия?.. Она же есть – грешная и великая... Россия существует в реальности, а в ней множество всяких краев» [2, с. 462].

Сегодняшнее прочтение давно написанного документального рассказа «За дальним меридианом» возможно лишь в контексте всего творчества Василия Белова, которое есть честное служение своей Родине.

Литература

1. Баранов, С.Ю. Василий Иванович Белов: на путях творчества / С.Ю. Баранов // Белов В.И. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Классика, 2011. – Т. 1.
2. Белов, В.И. Без вести пропавшие (Документальный рассказ) / В.И. Белов // Белов В.И. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Классика, 2011. – Т. 2.
3. Белов, В.И. За дальним меридианом / В.И. Белов // Белов В.И. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Классика, 2011. – Т. 1.
4. Белов, В.И. Письма / В.И. Белов // Белов В.И. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Классика, 2012. – Т. 7.
5. Белов, В.И. Час шестой / В.И. Белов // Белов В.И. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Классика, 2011. – Т. 4.
6. Тихомиров, С.А. Примечания / С.А. Тихомиров // Белов В.И. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Классика, 2012. – Т. 7.

*А.М. Неволина, О.Ю. Неволина
ВоГУ, г. Вологда*

ЭХО АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. ТОЛСТОГО И И.А. БУНИНА В ПОВЕСТИ В.И. БЕЛОВА «НЕВОЗВРАТНЫЕ ГОДЫ»

Рассматривая повесть В.И. Белова «Невозвратные годы» (1999–2000) в контексте русской автобиографической прозы XIX века и феноменологической прозы XX века, весьма частые и выразительные переклички мы находим с трилогией Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» и романом И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Речь идет о существующих архетипических основах, сквозных философско-эмоциональных лейтмотивах, универсальных категориях, определенных и обязательных звеньях, без которых сам жанр художественной автобиографии (по определению В.Ф. Ходасевича, «вымышленной автобиографии») не существует.

Среди книг, которые имелись в небольшой библиотеке отца, В.И. Белов упоминает повести Л.Н. Толстого, правда, не называет, какие конкретно [2, с. 7]. В публицистике В.И. Белова имя Л.Н. Толстого появляется еще в 1964 году в статье «В защиту Наташи Ростовой» [2, с. 402–404], и на протяжении четырех десятилетий он будет к нему возвращаться в выступлениях, очерках, рецензиях. Конечно, В.И. Белову были близки мысли Л.Н. Толстого о праведности труда на земле и всего патриархального бытия, искренности и искусственности и т.д.

Л.Н. Толстого В.И. Белов воспринимает как философа, педагога, теоретика искусства. С одной стороны, он называет Льва Николаевича «художественным гением» [2, с. 101], «мучимым совестью», проповедующим «нравственность, самоочищение и самосовершенствование» [2, с. 207], а с другой – не принимает в нем «нигилизма по отношению к своему времени и некоторой идеализации будущего» [2, с. 287]. Впрочем, В.И. Белов спорит сам с собой, говоря: «Что можно сказать, к примеру, о Толстом? Любое высказывание будет мелким либо совсем банальным по сравнению с тем, что сказал уже он сам. И не надо о нем говорить, надо просто читать» [2, с. 285].

Прямых отсылок к И.А. Бунину в публицистике В.И. Белова мы не находим. Как говорил Ю.М. Лотман, для «памяти искусства вся толща текстов» оказывается «потенциально активной» [5, с. 200].

Общность автобиографических произведений Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, В.И. Белова – в близости понимания природы художественной памяти, правды и вымысла в феноменологической прозе. Для писателя не так важна достоверность воспоминаний. «Как меня крестили и где? Мне думается, что это в самом деле помню. Или я просто спутал то, что писал, с тем, что должно было быть? Господь ведает!» [1, с. 91], – размышляет В.И. Белов. Сравним с толстовской концепцией «художественной правды»: «Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения» [6, с. 9]. И.А. Бунин говорит следующее о творческой памяти: «А воспоминание – употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле, – это живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова» [4, с. 195].

Вспоминая время колыбели человека – младенчество, писатели пленяются этими переживаниями-воспоминаниями, удивляются, умиляются

ими, и что самое главное – открывают в этом времени, в этом состоянии божественную природу человека, когда окружающий мир и ребенок совершенно нераздельны.

Младенчество у В.И. Белова состоит «из радости, спокойствия, блаженства, полной гармонии и еще чего-то необъяснимого и прекрасного» [1, с. 7]. Нельзя не увидеть в этих строках традиционно толстовской мысли о детстве: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений» [3, с. 36].

Раннедетское состояние гармонии ребенка с миром очень подвижно, хрупко, зыбко. Оно постоянно нарушается в «Невозвратных годах» то тоской от временной (пусть и совсем непродолжительной) разлуки с матерью, то страхом потерять родных, с кем ребенок уже ощущает кровную связь, то совсем необъяснимо возникающим состоянием одиночества еще в «коконе жизни». Для писателей важно осмыслить, понять, правдиво реконструировать время колыбели во всей его противоречивости. Так И.А. Бунин писал: «Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно чувствительное, жалкое... Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества?» [3, с. 341].

Неразрывная связь дитя с матерью не менее драматична в сознании писателей: «Ликующие образы мира и образ матери – для младенца одно и то же» [1, с. 8], но «первые младенческие трагедии» тоже связаны с матерью. «Я задыхаюсь от нестерпимой тяги к ней, от сладкой тоскливой нежности к этому родному и единственному в мире существу, бегущему от заречных травяных копен меня выручать» [1, с. 20], – вторит В.И. Белов герою И.А. Бунина, для которого с «матерью связана самая горькая любовь всей жизни»: «А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, – к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!» [3, с. 345].

Облик матери, запечатленный в памяти раньше других образов, продиктован прежде всего чувственными ощущениями. «Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда самого себя...» [3, с. 345], – размышиляет Арсеньев. Общее впечатление может «решительно ускользнуть» [6, с. 27], но «память сердца» сохраняет отдельные зрительные, слуховые, тактиль-

ные и другие ощущения. В.И. Белов пишет об одном из них: «Как и что певала моя матушка? Об этом говорить можно очень долго, но здесь главное для меня не слова, а мелодии и манера пения». Звуки песни матери, звук ее голоса, «без слов, но живой»¹ «так сладки, так приветливы, одни звуки эти так много говорят <...> сердцу» ребенка [6, с. 36]. По одному прикосновению ребенок узнает нежную руку матери.

Мать, «которая была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным» [3, с. 345], мир, который «был мною, отражающим самое себя» [1, с. 7], – «это единство, все активнее то и дело подменялось какой-то маленькой, зато упорядоченной своей частичкой. Теперь, будучи взрослым, я знаю, что начало этой подмены совпадает с началом самосознания...» [1, с. 15], – пишет В.И. Белов.

«Детство стало понемногу связывать меня с жизнью» [3, с. 342], – размышляет И.А. Бунин. «Чудное, сладостное чувство новизны охватывало меня при знакомстве с деревней, с новыми, не родными людьми!» [1, с. 20]. «О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности!» [3, с. 347] – воскликнул Арсеньев.

В романе И.А. Бунина с этой переменой связано появление образа отца: «...мое сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, что я сплю в отцовском кабинете, – я заплакал, я позвал, разбудил отца... Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди» [3, с. 345]. «Родное существование» отца маленький герой наблюдает с любопытством и познает с известной степенью отстраненности: «Я стал интересоваться им и вот уже кое-что узнал о нем: то, что он никогда ничего не делает, – он, и правда, проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского; что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом; что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытоого окна и пить очаровательно-шипящую и восхитительно-колющую в нос воду с кислотой и содой и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем так же внезапно ссаживает, не любя ничего длительного...» [3, с. 344].

По-детски наивное восприятие отца в той или иной мере трансформируется под влиянием аналитического взгляда писателя: психологических

¹ В качестве еще одной параллели приведем воспоминание М.Ю. Лермонтова в его дневниковых записях: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если бы услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать» [8, с. 14].

описаний Л.Н. Толстого в «Детстве», доброй иронии И.А. Бунина в «Жизни Арсеньева». В.И. Белову в «Невозвратных годах» удалось эмоционально передать детскую непосредственность восприятия:

«— Тятя, а чем это пахнет?

— Сынок, это порохом так пахнет. Бери вот патрон и заряжай сам! <...>

— Не торопись! Осторожней... — предупредил отец. — Поднимай прикладом к плечу... Я взведу тебе курок, а ты пока целься...

Куда там целься! От восторга я сумел только поднять одностволку под углом. Отец едва успел взвеси курок, и я бахнул не целясь... Газетные пыжи долго падали в полевую траву... Мне хотелось палить еще и еще, но отец, смеясь, сказал, что патронов больше нет. Мне не было восьми лет, но я впервые почуял в себе взрослого во всех трех ипостасях: пахаря, охотника и солдата» [1, с. 54–55].

Мотив сыновней гордости и восхищения пронизывает образы отцов: у И.А. Бунина — «он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок, — он попадал в двуручивенный, подброшенный в воздух, — и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен...» [3, с. 344]. У Л.Н. Толстого: «Он умел взять верх в отношении со всяkim <...> Он говорил очень увлекательно» [6, с. 25–26]. В.И. Белов отмечал, что его «любовь к литературе началась благодаря отцу Ивану Федоровичу через Григория Мелехова и Василия Теркина» [1, с. 55]. Иван Федорович погиб на фронте в 1943 году.

Однако отношение к отцу не лишено противоречий и связано с серьезными детскими трагедиями: «...уже настоящая детская драма, связанная с матерью, произошла со мной тоже в те предвоенные годы, когда отец Иван Федорович по навету какого-то недоброжелателя начал ревновать Анфису Ивановну. Я видел в окно, как мама ходила вся в слезах вокруг нашей новой зимовки. Мое сердце разрывалось от жалости к матери...» [1, с. 55]. Николенъка Иртеньев ставит перед собой (и читателями) вопрос: «Что за человек был мой отец?». Напряженно, иронично и грустно звучит эта глава в трилогии Л.Н. Толстого: «И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости» [6, с. 26]. Мать герои чувствуют, слышат, ощущают, в отца — всматриваются, вслушиваются, вдумываются. Единение

с матерью, постижение отца в неизведенном мире старших – таковы общие духовно-образные ретроспекции трех текстов.

Как детская память запечатлела окружающих ребенка людей? «Я не помню ни лица ее, ни одежды, помню только ощущение ее доброты и хлопотливости» [1, с. 15], – пишет В.И. Белов о своей двоюродной бабушке Наташе². Подобные детские ощущения находим и у героя Л.Н. Толстого: «С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишину, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, – тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка» [6, с. 31]. Не с этого ли раннедетского «ощущения доброты» и начинается осознание доброты человеком?

С ранних лет герой отмечал людей, наделенных добротой, или его память, не совсем осознанно для маленького и вполне осознанно для взрослого, сохраняла их образы. «Почему я так усиленно вспоминаю тетку отца Наташу, кривую (с бельмом) бабушку Таню, горбатеньку Иришу? Объясню в обратном порядке. Ириша запомнилась как бесконечно добрая, смиренная мамина крестная. Таня Колыгина тоже была добрая». В чутком сердце ребенка образы доброты «сливались в одну картину» [1, с. 22], и в этой слитности «память сердца» переносила их в сознание взрослого.

Вероятно, с образом смиренной доброты для героя мемуаров было связано первое ощущение Бога: «Да, это была та самая горбатенькая Ириша! Она крестная мать моей родительницы Анфисы. Я так хорошо ее помню... Она собирала милостыню и всегда заходила к нам в пору нашего детства. Ириша была типичной представительницей Святой Руси, ее доброта оказалась поистине неизбывной!» [1, с. 21]

Доброта всегда божественна – эта истина открыта детям. И страдание божественно. Сопричастность ему наделяет ребенка величайшим даром, какой только может быть дан человеку – даром сострадания. Герой мемуаров В.И. Белова сострадал горбатенькой нищетой Иришке, Николенька Иртеньев – нищему юродивому Грише, Арсеньев – учителю Баскакову, «странныму человеку, зачем-то дотла разорившему свою жизнь и бесцельно мотавшему ее по свету, единственному, кто понимал мои <мальчика> бесцельные мечты и страсти» [3, с. 360].

Из «детского удивления, жалости и благоговения» [6, с. 29] вырастает сострадание у героя-ребенка: «Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил:

² Интересен комментарий В.И. Белова к этому имени: «Не Натальей звали, не Натальей Лаврентьевной, а именно Наташой. Совсем девичье имя, как в толстовской “Войне и мире”» [1, с. 21].

“Боже, прости врагам моим!” – кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю <...> О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих – ты их не поверял рассудком...» [6, с. 29–30].

Сопереживая верующему, ребенок и сам причащается Святых Тайн: «И не раз видел я, с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами... О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле? О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем и особенно к нам, ее близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства – и смерть...» [3, с. 355].

Нерасчлененное сосуществование ребенка с матерью сменяется взглядом его на отца, людей, мир и, наконец, осознанием своей отдельности, уникальности и своего несовершенства: «Я, я, я! Что за дикое слово! Неужели вон тот – это я?» [7, с. 174].

Отстраненное осознание себя прослеживается уже в «первом воспоминании» В.И. Белова. Он видит себя Васей-Толстым глазами «шумного собрания деревенских жительниц» [1, с. 19]. «Я очень хорошо помню, как раз за обедом» даже мать «принуждена была сознаться, что я дурен», – вспоминает шестилетний Николенька Иртеньев [6, с. 77]. Семилетний герой И.А. Бунина, «как посторонний», рассматривает себя в зеркале: «...на меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке <...> произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, – свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выражение внезапно увидал, одним словом, что я уже не ребенок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему... И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, – что уже само по себе означало не малое, – и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле» [3, с. 355].

В исследуемой автобиографической прозе начало видения и осознания себя отдельно от других связано с «минутами отчаяния», по-детски наивными просьбами, обращенными к Богу [6, с. 77], в преддверии инициации, которая ждет героев: вступления в «жизнь сознательную» [3, с. 356], приобретения дара удивления, самонаблюдения и рефлексии.

Несмотря на разное историческое время, вопреки разнице изображаемых событий, социального статуса героев, степени «художественности» и «документальности», в автобиографических текстах Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, В.И. Белова, есть универсальные категории, в которых образ времени реализуется. В.И. Белова, как и его предшественников, интересует чувственный мир ребенка, его детские горести и радости, сложности взаимоотношений со старшими, первые встречи с вневременными ценностями: любовью, смертью, божественным. Думается, что есть явная архетипическая основа в осмыслиении образа детства в русской классической прозе, частью которой является творчество В.И. Белова. Архетип идиллического мира младенчества и детства постоянно мелькает среди трагичных размышлений писателей. Невозвратные годы взросления являются важнейшей составляющей духовной родины Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, В.И. Белова.

Литература

1. Белов, В.И. Невозвратные годы / В.И. Белов // Белов В.И. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Классика, 2011. – Т. 3.
2. Белов, В.И. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Классика, 2012. – Т. 7.
3. Бунин, И.А. Жизнь Арсеньева / И.А. Бунин // Бунин И.А. Избр. соч. – М.: Худож. литература, 1984.
4. Бунин, И.А. Ионния и Китеж. К 50-летию со дня смерти гр. А.К. Толстого / И.А. Бунин // Бунин И.А. Великий дурман. Неизвестные страницы: сб. ст. – М.: Совершенство секретно, 1997.
5. Лотман, Ю.М. Память в культурологическом освещении / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Избранные статьи. – Таллинн: Александра, 1992. – Т. 1.
6. Толстой, Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – М.: Наука, 1978.
7. Ходасевич, В.Ф. Стихотворения / В.Ф. Ходасевич. – Л.: Сов. писатель, 1989.
8. Шувалов, С.В. М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество / С.В. Шувалов. – М.; Л.: Госиздат, 1925.